

Артемьев Ю.М. Поэзия К. Иванова как отражение саморазвития чувашского национального духа / Ю. М. Артемьев // Халăх шкулĕ = Народная школа. – 2000. – № 5-6. – С. 57-60.

ПОЭЗИЯ КОНСТАНТИНА ИВАНОВА

КАК ОТРАЖЕНИЕ САМОРАЗВИТИЯ

ЧУВАШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХА

Чванововедению, как самостоятельной ветви чувашского литературоведения, скоро исполнится сто лет. Каждое новое поколение, перечитывая бессмертные творения поэта, как бы открывает их для себя заново, к творческому портрету автора добавляет новые штрихи, предлагает собственное истолкование и оценку сути трагических событий, а также ценностей, утверждаемых автором. При этом иванововедение во все времена не было свободным от политической конъюнктуры. Возьмем лишь один пример, связанный с оценкой образа Нарспи. Если, скажем, в тридцатых годах в дочери Мигедера акцентировалось ее кулацкое происхождение, то сегодня раз-

даются голоса, обвиняющие ее в разрушении прочно устоявшихся семейных традиций, основ брачного союза и т.д. Но сегодня, наверное, правильнее было бы говорить о своеобразной расхристанности критики, о свободе, переходящей в анархию. И все же нас должны больше поражать не эти невинные цветы и плоды объявленных демократических свобод. Удивительно, как это чувашское литературно-художественное (эстетическое) сознание до сегодняшнего дня сумело сохранить свою целомудренность и «девственность». (Конечно, если не принять во внимание некоторые порнографические публикации на страницах газеты «Аван-и» и литературно-художествен-

ных журналов, вовсе не делающие погоду в литературе.)

Это характерно и для чувашского литературоведения. С расширением диалога между Западом и Востоком, казалось бы, воздействие упомянутых факторов, внешних импульсов в чувашском литературоведении (и не только в нем!) должно усиливаться. Западная культура в течение всего XX столетия развивалась под знаком постмодернизма. Воцарилась стихия массовой культуры. Расшатывались основы классического литературоведения и культурологии: то в лице Ортеги-и-Гассета развенчивались гуманистические ценности («дегуманизация искусства»), то всю культуру человечества оценивали всего лишь как игру (Хейзинг). В таких условиях методологически вооруженный литературовед обязан сопрягать в поле своего видения, понимания и интерпретации все имеющиеся современные концепции, взгляды и подходы, не впадая при этом в цитатничество и эклектизм. Смешно выглядела бы здесь и поза эдакого всезнайки, исключительно осведомленного во всем, щеголяющего: вот, дескать, я знаю все! А также важно не растерять собственные накопления и традиции, выдержавшие проверку временем.

Сегодня почти во всех публикациях, посвященных творчеству Константина Иванова, можно наблюдать некую особенность — его произведения (прежде всего «Нарспи») причисляются к гениальным творениям общечеловеческой культуры. Но все же пока мы не имеем глубокого и целостного анализа наследия поэта как **эстетического** феномена. Раскрытие природы гения К. Иванова, ее своеобразия могло бы помочь ответить на вопрос: какова вообще природа чувашского национального гения? Ведь творчество К. Иванова как ни у кого другого наиболее полно и концентрированно отразило характерологические черты чувашского гения. И здесь, бесспорно, речь прежде всего должна идти о трагедийно-эпическом шедевре «Нарспи». Для на-

чала поставим вполне резонный вопрос: в чем видел автор свою сверхзадачу, т.е. для него было важнее разоблачить, развенчать уродливые явления в социальной, культурной, бытовой жизни родного народа или же он отдавал предпочтение утверждающему началу, Красоте? Сторонники критического реализма, впадая в крен, всегда чрезмерно выпячивали критический пафос произведения, что отбрасывало на периферию иерархии ценностей сущностные явления, «чистой» Красоты. Надо сказать, чувашская критика и литературоведение с пеленок были воспитаны на традициях русской литературной критики, критического реализма. К тому же во все советские годы властителем дум для критики оставался Белинский позднего периода, а не раннего, когда он, вслед за своим кумиром Гегелем, искал и утверждал «чистую» Красоту. А его преемники Чернышевский и Добролюбов в борьбе с представителями критического лагеря, названного «чистым искусством» — Дружининым, Боткиным, Анненковым, — воинственно отстаивали критическое начало в литературе как главное и определяющее, доходя при этом до абсурдных выводов и оценок, наподобие: «литература должна выносить приговор жизни». К сожалению, альтернативная перспектива «чистого искусства» осталась нереализованной, в силу чего критика советского периода, следуя магистральной линии Чернышевских и Добролюбовых, занималась вынесением «приговоров, воспитанием» литераторов. Не удивительно, что даже сегодня вопросы собственно эстетики в критике остаются второстепенными.

Нельзя утверждать, что в трагедии «Нарспи» отсутствует критическое начало. И все-таки я бы осмелился утверждать, что не желание разрушить основы и отображение человеческих пороков было для автора главным. Иначе трагическая фигура Нарспи не была бы идейно-философским и эстетическим центром произведения. Именно

через ее образ автор утверждает внутреннюю (идеальную) и внешнюю Красоту человека, силу его духа, волю к борьбе. Скажем, в образе Тахтамана, этого антипода образа Нарспи, автор подчеркивает контрастные черты: «лапчăк сăмса, хĕсĕк кус» и т.д. О нем сказано «ватă каччă». Но для автора главное не индивидуализированные человеческие особенности. Думается, в нем зла как такового, может быть, и нет. Он — раб традиций, общепринятых норм и «предписаний». Когда же Нарспи, борясь за сохранение собственного человеческого достоинства, стремясь отомстить за поправленную честь, убивает «старого мужа», последний вмиг перестает быть частью движущей силы фабулы и о нем как будто автор вовсе забывает, а сюжетную нить движут дальше события, связанные с фигурой Нарспи. Каскад потрясающих читательские души событий завершается уходом из жизни Нарспи, это — финал всего. Автор этим актом сумел не только потрясти душу читателя, это одновременно и очищение, озарение, просветление нашего духа (катарсис, по выражению Аристотеля), потому что Нарспи не только идеал совершенства, она пока что единственное в чувашской культуре законченное выражение национального «гения чистой красоты». Поэтому еще раз хочется отметить, что для К. Иванова сверхзадачей было утверждение и восславление, а не разоблачение и разрушение.

Хочется отметить и следующий момент. Красота Нарспи предельно концентрированно и «объемно» выражена в произведении в свойственном ей чувстве любви. Мы видим, что ее нелюбовь к Тахтаману прямо пропорциональна чувству любви к Сетнеру. Любовь в мире героев К. Иванова — качество души (духа), ею сверяется ценностная шкала автора. Мне думается, революционное новаторство К. Иванова прежде всего выражено в том, что он впервые в чувашской культуре выдвигает идею **чистого духа** (духовности).

Ведь в Тахтамане (символ обыденности, обывочности) не хватает именно этой духовности, в то время как Нарспи — само олицетворение духовности. Это говорит о том, что именно К. Иванов взлетел (и поднял национальную культуру) на новый качественный уровень: смысл этого сдвига в том, что поэт выразил доверие к человеческому духу, оценил чувство любви как высочайшую ценность, возносящую человека над бытом, раскрепощающую его от меркантильных установок.

Впрочем, это характерно не только для «Нарспи», но и для других его произведений («Две дочери», «Вдова»). Прочитав их, читатель сам приходит к выводу: быт и обыденность, чисто материальные ценности не выдерживают проверки духовностью, они непрочны, сиюминутны. А это уже переворот в нравственных представлениях и ценностных ориентациях. Одновременно это проблема и глубоко философская, неслучайно поэта интересуют проблемы общечеловеческого характера (жизнь и смерть, добро и зло, дух и тело).

Таким образом, в творчестве К. Иванова каноны традиций, сковывающие дух человека, обычаи и нормы впервые получают разрушительный удар. Испокон веков нравственным считалось делать ставку или ориентироваться на материальный мир, жениться или выходить замуж, руководствуясь привычными, устоявшимися нормами. И вот К. Иванов впервые, полемически утверждая, выдвигает новые ценности. Конечно, поэт акцентированно подчеркивает при этом черты приверженности к прежним нормам в главных героях трагедии — Мигедере, его жене, Тахтамане, — но метит он глубже — сотрясает устои и господствующие нормы морали. Его идеал — Нарспи. Поэт не дает рекомендаций и рецептов для борьбы за свободу духа, сохранения чувства любви, и, может быть, Нарспи и не нашла единственно верного способа для прорыва к свободе духа и просветленности (не видит этого пути

и автор!). Но главное в том, что К. Иванов глубоко философски постиг истину: что его герои обречены, борись не борись — не победишь, пока что деньги и водка сводят человека с ума, а законы этого мира далеко не гармоничны и совершенны. И тем не менее бороться необходимо, других путей нет, надо проявлять силу воли (Нарспи). А Сетнер плоть от плоти народа — ему недостает смелости и мужества, чтобы погибнуть в борьбе. Он становится случайной жертвой. Здесь недалеко и до идеи древнечувашицкого обычая «сухой беды». А надо ли так? Думается, все же К. Иванов размышлял об этой черте своего народа, но в силу внутренней деликатности и мягкости ограничился намеком: необходимо бы мобилизовать все жизнеспособные силы. «Призывает» к этому не декларативно, а разыгрывая трагедию, сотрясая читательские души. И разве мы не видим, что гениальный поэт метнул стрелу в ядро менталитета народа, в сердцевину его духовной субстанции. Другое дело, откуда у шестнадцатилетнего юноши такое внезапное озарение и коренная переоценка ценностей, ориентация на дух, духовность. Нет сомнения, это отражение саморазвития национального чувашского духа. Пробуждение духа для поэта означало: каждый человек должен стать хозяином собственной судьбы, каждый обязан проявлять волю к действию. Тогда девушка не будет просто товаром,

а об авторитете человека не будут судить только по его богатству. Поэт понимал, что духовное начало должно быть решающей силой, определяющей ход и направление исторического развития чувашского народа. Сам народ из объекта должен превратиться в активный субъект истории, сохранив отличительные качества: трудолюбие, скромность, терпеливость (но не терпение, доходящее до самоедства). Так глубокий диалектик, выходя за узкие рамки жизни, размышляет о более масштабных сферах жизни чувашского народа, о перспективах его культурного развития.

В двух словах, тезисно можно выразиться так: в проекции К. Иванова и в его самовыражении природа чувашского национального гения предстает перед нами очень хрупкой, трепетной (словно из стекла!). Беспредельная выносливость, устремленность к идеалу сочетаются в ней с опасной чертой отрицать долгое пребывание в ритме мерной, обыденной, повседневной, «серой» земной жизни. Чувашский гений в ситуации конфликта апеллирует к высшей Справедливости (в отличие от Сальери: нет правды на Земле, но нет ее и выше), интуитивно постигая ее суть и даже возможность ее существования. Эта тенденция носит в себе импульсы саморазрушения. Но в этом, видимо, и залог периодического самообновления, возрождения из пепла.

Ю. АРТЕМЬЕВ